

ВИКТОР СЛИПЕНЧУК

«Бывает неподвластнойю минута»

В.Т. Слипенчук



Виктор Слипенчук – поэт, прозаик и публицист, автор множества поэтических сборников, рассказов, повестей и очерков. Среди его произведений поэтические книги: «Свет времени», «Путешествие в Пустое место», «Чингис-Хан», «Тринадцатый подвиг Геракла», «Зигзаг». Романы – «Огонь молчания», «Зинзивер». Пьеса для театра в десяти эпизодах «Губернатор».

Писатель родился в 1941 г. в Приморском крае, в селе Черниговка. Служил в армии, получил два высших образования, двадцать три года прожил на Алтае и первое свое стихотворение опубликовал в 14 лет. Прежде, чем стать писателем, ему пришлось сменить несколько профессий.

Он работал геологоразведчиком, зоотехником, матросом, рыбоводом, строителем и журналистом.

В 1982 г. Виктор Слипенчук был принят в Союз писателей СССР. После окончания Высших литературных курсов направлен на усиление Новгородской писательской организации, руководил областным литературным объединением, был редактором радиожурнала «Литературный Новгород» и газеты «Вече». С 1996 г. писатель живёт в Москве. В 2009 г. избран академиком Академии русской словесности. В 2016 г. Московская

писательская организация вручила В.Т. Слипенчуку знак «Почётный писатель МПО РФ».

Знание жизни, пытливейший ум и самобытный взгляд находят своё отражение в книгах и стихотворениях автора. По мнению В.Т. Слипенчука, писатель не может обойтись без жизненного опыта, а опыт бывает разный. С 1983 по 1985 г. В.Т. Слипенчук находился под подпиской о невыезде Прокуратуры Алтая (РСФСР). Защита своего достоинства и свободы от облыжных обвинений и суда легли в основу повести «Огонь молчания» (1988).

Уже более полувека Виктор Слипенчук отстаивает собственную позицию в творчестве, исповедуя непобедимость добра, изображая мир во всем богатстве его национальных и исторических парадигм, выявляя в них больше параллелей и сходств, чем различий. И, может быть, поэтому его книги получили широкое международное признание – они переведены и изданы во Вьетнаме, Китае, Монголии, Сербии, Франции и Японии.

Официальный сайт писателя www.slipenchuk.ru

ПОХОРОНКА

Мария Васильевна Вострикова, безграмотная женщина, мать четверых детей (все дочери), получила письмо. Писал зять Федор, она поняла это по каракулям, прыгающим во все стороны, а потому ей особенно знакомым. Раньше почти всегда писал племянник Юра, а тут... Может, с Матрёной что?.. Мария Васильевна осторожно, точно своей неловкостью могла причинить боль конверту, опасно оглядела его и совсем расстроилась. Не такой Федор грамотей, чтобы писать зазря, видно, передоверить не мог.

Мария Васильевна положила письмо на комод и, сев на лавку, задумалась, но не о старшей сестре, а о своей жизни, которая, как она полагала, была, в общем-то, ничего, а может быть, и хорошей. Будь её Степан рядом, она бы не сомневалась, а точно бы знала, что хорошей. Ведь, не в пример той же Матрёне, работает не в колхозе за палочки трудодней, а в Доме офицеров. Уборщица, а продовольственный паёк получает ровно офицер какой или жена офицера. В душе потеплело, она почувствовала гордость за свой достаток, ей казалось, что большой. Дети одеты, а что впроголодь, то нынче все впроголодь, такая война прошла, кругом поруха. Она вздохнула: да, будь её Степан с нею, она была бы довольна жизнью.

Мария Васильевна вспомнила недавний сон: Степан вошёл в избу улыбающийся, в солдатской гимнастёрке, подтянутый, даже бравый, как на последней фронтовой фотографии, когда, пополняясь, они стояли в резерве. Вошёл, поставил на стол туго набитый вещмешок и давай одаривать детей: консервами, сахаром, галетами. А когда пришёл её черёд – вытасил темный кашемировый платок, по краю не то в цветах, не то в красных яблоках – Мария Васильевна

подумала – для неё, встала, счастливо улыбаясь, подставила плечи, а он на вещмешок накинул. И тотчас из него выросла большая, величиною с шапку, жаба. Колыхаясь, как студень, пучеглазо высунулась, подобрала под себя лапками концы платка и замерла – любуйтесь. Степан рад-радёшенек, потянулся к ней и ну – бережно так ласкать и целовать её. Дети глядят, смеются и как-то нехорошо, со значением перемигиваются, будто взрослые. Марию Васильевну в озноб бросило – Степан!

Очнулась и от внезапной мысли – нет Степана, похоронка, погиб – впервые ощутила не сухую застарелую боль, а мягкое, прокатившееся волной облегчение. Потом опомнилась, почувствовала себя виновной перед ним, тихо, одними губами, чтобы не разбудить детей, помолилась, испрашивая прощения за свою слабость. Мария Васильевна искренне боялась, что где-то там, где правит высшая справедливость, её эту минутную слабость зачтут против Степана. А он-то всегда с нею, никогда сердцем она не верила в похоронку и сейчас, спустя почти пять лет, не верит. Мало ли бывает чего?.. Дети, достаток – всё он, Стёпушка. И как тогда ночами она поверяла ему свои заботы, так и теперь, сидя на лавке, в мыслях советовалась с ним:

«Все дети большенькими стали. Танюшка в школу пошла. Годами самая младшая, а костью – широкая, видно, в тебя, Стёпа, вот-вот Аннушку догонит. А ведь Аннушка на два года с лишком поболее будет. Марьюшка в шестой пошла – пионерка, серьёзная, строгая. Младшие, те – пошалить бы им, а её слушаются. Я и то маленько побаиваюсь её, всё помнит, всему подсчёт и расчёт – хозяйка. Я недавно купила им пряников и леденцов. Леденцы – розовенькие петушки на палочках, точь-в-точь такими ты угощал меня на ярмарке. Увидела их и позабыла всё... Прихожу домой, Анька и Танька, те, конечно, обрадовались и петушкам, и пряникам, схватили и на улицу – хвастать, а на Марьюшку взглянула и обмерла: до зарплаты, почитай, ещё неделя целая, а я все деньги ухлопала. Достала Марьюшка этот свой блокнотик из газетных полосок, я сама вырезаю их из всякого остатного мусора и приношу ей. Говорю: дарят мне. Ну кто такое добро дарить-то будет? А для неё – богатство, она верит, дитё ещё. А тут как давай мне выговаривать и отчитывать, ну ровно малого ребёнка: ты что такое, мамка, делаешь, комбижиру нет, того и того нет, ужели петушки хлеб али сечку какую заменяют? Своим востреньким карандашиком нырнула в блокнотик и вычеркнула меня, мол, не мамка ты нам, иди гуляй на все четыре стороны. Озлилась я, грех попутал. Кто ты такая, чтобы родной матери устраивать расчёт?! Потянулась за пояском, а она как увидела – ничком на пол. Я такая же как и ты – все говорят, и звать меня так же. И в слёзы: такой, как ты буду, не хочу учиться, я тоже петушков хочу. Бей меня, бей, всё равно не пойду в школу, работать пойду и тоже буду петушков исть. Растерялась я, благо Людмила с работы пришла. Она у нас девка – огонь. Влетела будто ветер. В кого она такая, всё чтоб по её, иначе – берегись, сверкнёт глазищами – прямо страх схватывает. Они-то у неё чёрные – чудно, только недавно углядела, всё

блзнилось: тёмно-синие. Это оттого, что белки голубым-голубые и косы, будто лён золотой, всё с синью сличались. Подняла она Марьюшку и обмеры ей – не реви, в школу в обнове пойдёшь. Перевели меня, мамка, с учениц и деньги выдали. Заведующий самолично обещал через год в город послать на закройщицу. Побайвается он, как бы рисо заводские не сманили меня, говорит, вкус у вас, Людмила Степановна, редкой художественности. Петушкам обрадовалась, закружила по комнате – я с вами вальс танцую. Танюшку на руки, а Марьюшка и Аннушка – им лишь бы подержаться за Людмилу, очень они надеются, что такими же, как она, будут. Есть, есть в ней обворожительность, в последнее время зачастила мне помогать, и уже начальник Дома офицеров приветы передаёт. Киномеханик на дом приходил. Недавно предложили мне подрабатывать, кино-контролёром. Это они всё для Людмилы стараются, хотят с этого боку в доверие попасть, она-то не шибко с ими...»

Мария Васильевна услышала стук калитки, подхватила: уже Танюшка из школы, дел сколь... Она сунула конверт за рамку с семейными фотографиями, торопливо надела плюшевую жакетку и, на ходу завязывая платок, выбежала на крыльцо. Танюшка обрадовалась, что застала мать. Точно почтальонша, сдвинула холщовую сумку набок: смотри, по твоему главному уроку пятёрку отхватила. Раскраснелась, Мария Васильевна увидела в тетрадке по чистописанию три ровных строчки палочек, а под ними – большую красную пятёрку.

– Молодец, Танюшка, – похвалила Мария Васильевна и, видя, что дочь не может налюбоваться пятёркой, повторила: – Молодец, такую большую зазря не поставят, надеются на тебя.

Танюшка застеснялась, пряча тетрадку, наклонилась над сумкой, Мария Васильевна заметила, что от удовольствия у неё покраснели даже уши. Она наказала дочке поглядывать в стайку за стельной козой Машкой-кормилицей, а придёт Марьюшка – пусть сообща принимаются за уборку. Она маленько задержится на работе, её попросили вымыть учебные классы. Зато потом все вместе будут читать письмо от дяди Феди, а завтра в баню пойдут.

Закрывая калитку, она ещё раз увидела счастливое личико и, пока шла по пустырю мимо колхозного сада, сама неведомо чему улыбалась и таяла, будто этот тихий октябрьский день, с пожухлой травой и опустевшими огородами, уже не вбирающими солнечного тепла, а согревающимися как бы своей внутренней памятью о нём. Мария Васильевна мимолётно подивилась погожести дня и тому, что самолёты не летают. Обычно в погожий день небо за железнодорожной станцией всегда усеяно парашютистами, иные один за одним раскрывают сразу по два парашюта, слепленные, они напоминают сросшиеся грибочки и висят над горизонтом долго-долго, а потом растворяются в его белёсости, истаивают. Нити блестящей паутины на сухих стеблях бурьяна вдруг напомнили родную деревню Захарово под Смоленском. (Оттуда перед войной они со Степаном и Людмилой приехали в Приморье, как переселенцы.) «У них там на Покрова хоть маленький снежок, а ложится», – грустно подумала

Мария Васильевна и неожиданно решила, что на родину она когда-нибудь, а всё равно съездит, попроведает, благо сестра там. Мысль о поездке захватила её и мало-помалу вытеснила тревогу, вызванную письмом, а ясный осенний день своим лёгким обманчивым теплом укрепил неизвестно откуда взявшуюся уверенность, что в письме сообщается о какой-то нечаянной радости для них.

Возле школы Мария Васильевна замедлила шаг, не то чтобы она надеялась встретить Аннушку или Марьюшку (такая надежда всегда с нею), а больше потому, что место это особое – здесь дети её учатся, негоже его, будто пустырь, проскакивать. Она шла по-над забором и едва не столкнулась с директором школы, Михаилом Михайловичем Дундиным. Выходя со двора с кипой тетрадей, он строго окликнул её. Мария Васильевна ступсевалась.

– Здравствуйте, Михаил Михайлович, – поклонилась, – доброго здоровьичка вам.

Михаил Михайлович слегка приподнял тёмно-серую фетровую шляпу с обвислыми полями, тоже остановился. Высокий, тощий, в расстёгнутой на все пуговицы потёртой кожанке, он казался Марии Васильевне осанистым и даже упитанным. Михаил Михайлович приехал в их село после войны, жил бобылём, судачили, что пристаёт к молодым учительницам, а он вдруг уехал в Спасск и взял в жёны вдову с четырьмя детьми, белую и пухленькую, которую тут же устроил заведующей школьной библиотекой. Год назад у них родился сын. Выбор Михаила Михайловича тогда удивил многих, над ним посмеивались, рассказывали всякие небылицы, а Мария Васильевна сразу приняла его сторону, но вслух одобрения не высказывала, опасалась, что ей могут приписать всякие дурные мысли, выбрал-то он такую, как и она, одинокую, с четырьмя детьми. И всё же это случайное сходство в выборе взволновало её, незаметно для себя она стала сличать всех мужиков с Михаилом Михайловичем, даже своего Степана примерила к нему. И хотя умом понимала, что всё это одна только глупость, для директора школы никакого такого сходства нет, терялась перед ним, чувствовала себя провинившейся школьницей. Михаил Михайлович словно бы догадывался о её тайных мыслях, всегда разговаривал с нею строго, за малейшую безделицу отчитывал. Он и сейчас, страдая за легкомыслие (детей пускает в школу босиком), смотрел на неё, грозно насунив брови, мол, удумала невесть что и ходит, и ещё радуется. Между тем его строгость никогда не обижала Марию Васильевну, напротив, ей было приятно, что он строжится. В его голосе она улавливала и тепло, и ласку и не очень-то вдумывалась в смысл слов. Она слушала Михаила Михайловича, как слушают шум дождя. Шумит – ну и пусть шумит, дождь не может не шуметь. Уставившись в одну точку и потупившись, Мария Васильевна стояла как заворожённая – все заботы отлетели от неё. Если бы Михаилу Михайловичу вздумалось отчитывать её до вечера – она бы и до вечера простояла, не шелохнулась. Наконец, безнадежно махнув рукой, он разрешил ей идти. Она вздрогнула, не совсем понимая – куда идти. Потом, сообразив, суетливо подобралась, заспешила, боясь не его гнева, а того, что именно

она может прогневить. Услышав внезапный оклик, вновь ступевалась, замерла.

– Чуть не забыл: пусть твои школьницы завтра зайдут ко мне, получат обувь. И чтоб носили!

Мария Васильевна, не оглядываясь, согласно кивнула, ждала ещё какого-нибудь указания. Не дождалась, опять зашпешила, заторопилась и, так и не посмев оглянуться, с облегчением свернула за угол.

Разговор с директором школы, в котором, кроме приветствия, она не проронила ни слова, всё же утомил её. Она шла опустошённая, каким-то шестым чувством угадывая, что эта её усталость особенная: от неё есть одно лекарство – Степан. Она даже наверное знала, что стоит ей подумать о нём, о той ликующей ярмарке с розовыми петушками и серебряными бубенчиками – и усталость тут же развеется, улечит, точно морок дурного сна. Но она подумала о другом: ишь ты, конь вороной – свет в окошке! Над своей строжея, а то и не посмотрю, что директор! Они как бы поменялись местами, теперь Мария Васильевна отчитывала, а он, Михаил Михайлович, стоял перед ней тихий, понурый, провинившийся. Куда ему до Степана. Степан весел, бодр, ласков, а этот... Мария Васильевна сама удивлялась – откуда что бралось, и невольно подзадоривалась своим красноречием. Она до того увлеклась и до того у неё всё складно и убедительно получалось, что, увидев Дом офицеров, посожалела, что уже пришла.

За уборку Мария Васильевна принялась не сразу, придержали напарницы, Ефросинья Худяк и Валентина Пикалёва. Ефросинья отдала давешний долг – пятёрку, её пострел пробрался к солдатской казарме и за каких-нибудь двадцать минут расторговал наволочку подсолнечных семечек. Мария Васильевна эту пятёрку тут же одолжила Валентине, радуясь, что в состоянии одолжить, и предупредила, чтобы девчата на неё больше не рассчитывали, вскорости она сама будет одолажаться у них, потому как собирается съездить на родину, попроведать сестру. Девчата заохали: удумала – ближний свет... Попытались отговаривать, но она и слушать не стала, виновато улыбнулась, схватила вёдра, побежала опорожнить урны. Мария Васильевна ничего другого и не ожидала от своих товарок, она знала, что сейчас они поосуждают-поосуждают её за отчаянность, а когда съездит – её же и похвалят: молодец, не убоялась, они бы тоже так поступили. Помнитса, по её просьбе приделали крышки к ящикам для мусора, девчата поначалу дулись на неё – лишняя работа, открывай их, закрывай, а нынче довольны – на заднем дворе чистота и порядок, не то что раньше – ветром разбрасает мусор, а им выговор.

Хваткость, с какою Мария Васильевна принялась за уборку класов, ей же и пошла на пользу. Начальник Дома офицеров прислал в помощь трёх солдат, сообща управились быстро, но всё же она маленько отстала от подруг, уборку своей территории на улице заканчивала одна. Впрочем, Мария Васильевна не скучала.

К вечеру как будто ещё больше потеплело. Закатное солнце, выглядывая из-за самолётов, казалось земным, вернувшимся на свой

аэродром светилом. В его длинном прожекторном освещении порозовели стены бараков, побелённый известкой штакетник – даже мусорные ящики выглядели обновлённо-праздничными. Бросив в кучу последнюю охапку листьев, Мария Васильевна подняла голову и увидела всё это: вдруг, разом и во всех направлениях. Воробьиная стая, что драчливо ворвалась в пустоту кроны и подняла там шум и гвалт, тотчас перенесла её на иной праздник.

...Людской гомон, толкотня. Ряды фанерных ларьков с яркими рисунками богатырей на стенах и грудями всевозможного товара на прилавках: скоб, хомутов, сапог, рулонами цветного шёлка, ситца и другой материи, рябщей в глазах пестротой красок. Ряженные продавцы (парни в малиновых рубашках с опояской, а девушки в сарафанах с орнаментом – волосы в косах под искрящимися коронами в водопадах разноцветных лент), и тебе товар подобрать, и сплясать, и частушку спеть: подходи, народ, расступись, народ! Весёлое бречанье балалаек, певучая дробь ложек, присядка, смех, плеск шаровар, свист, визг – всё это смешалось, крутилось, несло, расширяло круг. Если бы Марию Васильевну спросили: что за ярмарка, в какое время года она случилась? – вряд ли бы Мария Васильевна ответила. Она помнит и сытый парной дух пельменей и блинов, и сладковатый, щекочущий ноздри запах дынь и арбузов. Она слышит сухой хруст поджаристой корочки румяных бубликов и звонкий, сочный, точно треск спелых яблок, хруст снега. Она видит закуржавевшие от горячего дыхания отвороты полушубков и мчащихся по зелёному ровному ковру ипподрома коней, вытянувшихся в бешеной скачке. Зима и лето, весна и осень – всё разом в полной естественности потому, что главные на этой ярмарке – они, её Степан и она сама. Вот он, гибкий, широкоплечий (глаза синь-синью), ласково улыбаясь, подводит велосипед, сажает её на раму, она притворно пугается на поворотах, вскрикивает, а сердце смеётся, сердцу радостно. Или вот у счастливого столба Стёпушка разгорячённо сбрасывает на снег полушубок, стягивает самокатки – ворот алой косоворотки расстёгнут, льняной чуб набок, босиком подходит к столбу, высокому, гладкому, вытертому руками и ногами до лоснящегося блеска. Там, на макушке, приз – нарядные дамские полусапожки. Хлопцы подзадоривают Степана, а она стоит в кругу девчат, вся трепещет от понимания его затеи и оттого, что вдруг не осилит он, не вызовет полусапожки, над нею смеяться будут, уже сейчас девчата посмеиваются – ходить тебе, Мария, в модных полусапожках, готовь ноженьки, снимай свои хлябалки. Стёпушка поплевал на ладони – и наверх, без роздыха почти до самой макушки добрался, только-то и надо вытянуть руку и – его полусапожки, но как на грех скользят ноги, срываются, никак не высвободит он руки. Мария Васильевна ни жива ни мертва, напряжинилась, как бы всей силой помогая ему. Он увидел и, точно опёрся о её плечо, рывком выпростал руку и так вместе с полусапожками съехал вниз. Хлопцы подхватили его, полушубок накинули на плечи – иди вручай своей царевне. Девчата и её вытолкнули – давай, Мария, встречай добытчика. Ещё и радость не прошла, а уже новый страх – жели не подойдут, малы – тогда что?!

Степан рад-радёшенек, протягивает ей полусапожки, они, меховые, словно малые котята в его больших руках. Мария Васильевна смотрит на них, и глаз оторвать нет сил. «Ты что, девка, окаменела? Примеряй, совсем застудишь парубка». Мужик, будто отпрыгнул, тут же отлетел, едва не ударился головой о столб. А Степан только-то дёрнул плечом да переступил с ноги на ногу. И тут она увидела, что он всё ещё босиком. Сбросила войлочные боты, нырь ноженькой, и оберла – не лезут. «Да не на ту, не на ту надеваешь. Эко, девка, никак от радости ума лишилась!»

Впору пришлось полусапожки – будто по заказу сшили. И началось: ба-рыня, ба-рыня, су-да-рыня, барыня. Пока Стёпушка не сплясал – не обул самокаток. А уж когда обул – она вокруг него пошла. И на каблучках полусапожки, а ловко у неё выходило, потому как она догадливо привставала на носочки и враз привыкла к каблучкам, будто всегда на них ходила...

Мария Васильевна так живо переживала ту счастливую минуту, что, и очнувшись, какое-то время смотрела на яркие краски заката, как на продолжение ярмарки. Когда шла домой, было такое чувство, будто она уходит со своего неоконченного праздника. Пусть уж лучше он уйдёт, она замедляла шаг, останавливалась, давая закату выгореть и погаснуть, прежде чем стукнет калиткой. А закат, словно догадываясь о её чувствах, тоже медлил, вначале горел в окнах и на цинковых крышах изб, потом на облаках, потом в самих розовых сумерках.

Когда Мария Васильевна минула пустырь и свернула в переулочек – закат погас, канул в мутную темень колхозного сада и тотчас словно захлопнулось что-то в душе, погас и праздник, тоже канул в какую-то темень, будто и не было его. Она вздрогнула, испуганно ища взглядом свою избу, и та враз, как бы осознав неуместность игры в прятки, отозвалась, выглянула из сумерек ярко вспыхнувшим окошком. Хотя электрический свет вспыхнул разом по всему переулочку, Мария Васильевна увидела его отчётливо только в окошке над родным крыльцом. Выпрыгнул, будто на её зов, и приободрил, вселил уверенность, что праздник впереди, ждёт, дожидается её, точно письмо, спрятанное за рамкой с фотографиями.

У самой калитки встретила Людмила, подоткнув подол платья за пояс, выбежала выпростать таз с грязной водой.

– Мы уже и поужинали, и пол помыли, и занавески развесили, а тебя всё нет и нет. Всё где-то носит, – подражая матери и забавляясь своим подражанием, сказала Людмила и хохотнула. – Без ужина будешь, девка.

Мария Васильевна улыбнулась, но спросила со строгостью: все ли куры и ути? Людмила, пропуская её вперёд, кивнула и поинтересовалась: что о козе не справишься – поена ли? Они вошли в избу, тёплый дух только что истопленной печи ласково опажнул их, Мария Васильевна радостно встревожилась, быстрым взглядом окинула кутник, она подумала, что коза Машка окотилась, что причиной всего этого тепла козлёночек.

На веревке, протянутой под потолком, Марьюшка, стоя на табуретке, развешивала бельё, Аннушка и Танюшка, отряхивая, подавали. Увидев мать, они старались изо всех сил, нарочно не замечая её. Опасаясь выдать себя, прятали глазки, хмурились как бы полностью поглощённые серьёзностью своего занятия. Мария Васильевна замерла, наперёд зная, что Танюшка не выдержит и всё же глянет на неё. Так и есть, зыркнула глазоньками, натолкнулась на её весёлый взгляд и отвернулась, засмеялась Аннушке прямо в лицо. Теперь вдвоём глянули и, улыбаясь, законючили.

– Ну чего ты, мамка, нам мешаешь!

– Молодцы вы у меня, работающие.

– Очень работающие, кабы не Марьюшка, они бы наработали.

Людмила по обыкновению с весёлым задором стала рассказывать, какую они тут грязь учинили, как вывозились, готовясь к завтрашней бане. Так что это благодаря им пришлось срочно затевать стирку. Мария Васильевна и сама видела, что все они, кроме Людмилы, в нижнем белье, но и то верно, ежели платье одно – его вечером стирают, чтобы к утру высохло.

После уборки ужинали, дети по второму разу. Людмила ухватом вынула из печи чугунок с затирухой – мамкина порция, но Мария Васильевна сослалась, что где-то там на работе она уже ела, разлила болтушку детям, а сама только и выпила что кружку горячего смородинового чая. Она, и в самом деле, совсем не хотела есть и даже чай попила только для того, чтобы не привлечь к себе внимания и ещё надеясь уберечься от внутренней стылости, которая чем ближе приспевало время чтения письма, тем тверже схватывала грудь. Чтобы хоть как-то воспротивиться ей, Мария Васильевна, прежде чем вытащила конверт, постояла возле рамки с фотографиями – пожелтевшие снимки смотрели на неё совсем из другой жизни. Вот они втроём, Людмила в матросском костюмчике, острижена наголо, как мальчик, сидя на коленях у Степана, испуганно наклонила голову, а он, бравый, в новой косоворотке, мило так улыбается одними глазами. Себя Мария Васильевна рассматривать не стала, после этого у неё всегда пустеет сердце, будто та, в белом шарфе и жакете, похожая на молоденькую учительницу, вытягивает всю её душу, не оставляя ей ничего.

Письмо читала Марьюшка, как обычно, стоя под электрической лампочкой посреди горницы. Привилегии читать письма она была обязана своей врожденной серьёзности и строгости. Сосредоточенно-неприступная, она настолько проникалась чтением, так тонко улавливала нужную интонацию, что казалось, сама участвовала в написании письма. Впечатление её личного участия было настолько сильным, что Мария Васильевна всякий раз задабривала Марьюшку, припасая ей на этот случай какой-нибудь гостинец. Дорожа привилегией, Марьюшка не особенно пользовалась ею для корысти. Чуть-чуть повысит голос на Аннушку и Танюшку, затеявших спор из-за места на перевёрнутой табуретке, подождёт, пока все усядутся (Людмила на лавке с одной стороны стола, а мать с другой, поближе к ней), и к письму. Она и сейчас, получив вместе с

конвертом кусочек сахара, не обрадовалась ему, а осуждающе строго посмотрела на мать и безо всякого интереса положила его на стол, занялась письмом. Вначале она легонько постучала по нему сверху, посмотрела через него на свет, а уж потом только по пустой полоске чикнула ножницами, вскрыла. Всё это она проделала со свойственными ей сосредоточенностью и строгостью, так что Мария Васильевна, глядячи на неё, горестно вздохнула.

– Ты уж, Марьюшка, помягче... не своевольничай.

Письмо начиналось с приветственных поклонов и пожеланий доброго здоровья. Марьюшка останавливалась, давала матери время уяснить, от кого поклон. Только со второй страницы письмо стало понятно им всем. Дядя Федя писал:

«На днях сын Юрий приезжает из города, от военкомата учился на шофёра. Видел твоего Стёпку, он на базаре комодами торговал. Ты похоронку имеешь, а он комодами торгует, во, сватья, как!.. Юрка говорит: справный. Матрёна ездила, в чайную ходили... В сорок пятом выписался из госпиталя, бухгалтершу хозмага взял. Я, – говорит, – воевал, медалей и ранений полный воз, орденом Славы отмечен. У меня, куда ни оглянись, одна война кругом, всё загорюдила, кроме её, ничего не слышу, ни детей, ничего. У моей нынешней, – говорит, – так же, вот мы и вместе, а для Маньки я убитый. За то она и пособие на детей получает, убитый я, те её документы правильные. Ежели она не согласная, на меня нынешнего замахнётся, я с её жить не буду, а алиментов с меня не очень, больше на дому столярничаю, инвалидный я.

Такие, сватья, дела. Матрёна кляла его, а он ничего, уставится в пол и молчит. «И меня для тебя нету?!» Говорит: умом есть, вижу, а сердцем нету, пусто. И молчит, молчит... Она к нему три раза ездила, а это не пустил, хворать стала. Ну раз потерял себя человек... Сватья, тяжело оно, да адрес вот он... (Написал адрес, почеломкался.) Мария, Христом богом прошу, не езд, хватит, Матрёну извёл. Будь твой Стёпка живой, али бы не приехал к тебе?! Вот то-то... Фёдор».

Письмо оглушило. Марьюшка прочла, оцепенела. Анька и Танька на что дети, а тоже замерли, не шелохнутся, всё внимание на мамку. Мария Васильевна сидела, выпрямившись, положив руки на колени. Из-под белой косынки, стянутой на лбу в узелок, выбивались космы тёмно-русых волос. Работа, ежедневные хлопоты по хозяйству, нехватки отнимали всё её время. Проблески, конечно, были. Выберутся иной раз в баню, Людмила Марьюшку охаживает веничком, а она Аннушку и Танюшку оттирает, моет, потом выпроводят их одеваться, а сами с Людмилой улягутся на полке, отходят. Прильёт кровь к щекам, будто и не было войны. Выйдет в предбанник, отождёт волосы, дети уставятся: мамка это или не мамка?! Телом молодая, стройная, глаза словно синькой подголубила – голубые-голубые! Улыбнётся: уже оделись, – похвалит, – проворные вы у меня, и выпроводит туда, в зал. Присядет на лавку, Людмилу ждёт, а сама и не видит, что Людмила рядом обтирается полотенцем. Ожившее тело своей памятью обогревает, обволакивает, и до того не хочется втискиваться в вылинявшие одежды, что невольно

сожмется нутром и, словно натолкнётся на какой-то неодолимый предел, вдруг вздрогнет, очнётся и, испугавшись, заторопится – дел столько!..

Мария Васильевна и после прочтения письма вдруг вздрогнула: Людка, чего я говорила... живой он, живой! Подхватила: сию, а работы невпроворот!.. Но тело уже обмерло: ежели нет Стёпушки, зачем всё?! Обессилело тело, ступила Мария Васильевна два шага и, как подрубленная, упала на кровать. Казалось, что сейчас только коснётся подушки, так слёзы и хлынут и она выплachtetся, освободит душу – но нет, будто камнем взялось всё внутри. Дети попадали на неё и в голос, мамка, не реви, мам-ка! Сообща, как в тот раз, когда похоронку принесли. Наверное, поэтому приблазнилось ей, что ещё война кругом и это по её злой воле опять пришла та самая похоронка. Мария Васильевна медленно поднялась, дети примолкли, глядячи, как она рассеянно покрутила письмо и машинально, точно в беспамятстве, стала искать что-то, заглядывая то за рамку с фотографиями, то за портрет вождя, а то просто забывчиво шаря руками по своей плюшевой жакетке. Она никого не замечала и вела себя так, словно была одна в горнице.

– Ма, ищешь чего? – встревожилась Людмила. И Мария Васильевна, внезапно опомнившись, испуганно охнула: вот уж истинно вчерашний день ищет – прямо затмение какое-то. Она, конфузясь, жалостливо попросила, чтобы дети постелили ей, она маленько приляжет возле обогревателя, а как только в голове прояснится – сейчас же встанет, дел столько.

Однако Мария Васильевна не встала ни сейчас, ни на следующий день. Всю ночь её знобило, даже в зыбком полусне она чувствовала, как со всего тела холод стягивается к сердцу и схватывается в комок, в грудь словно вложили кусок льда. Всякий раз перед новым приступом у неё отнимался язык и деревенели ноги, Мария Васильевна ощущала их толстыми неподвижными колодками. В беспокойстве, словно бы сияясь что-то вспомнить, она привставала, тревожно обшаривала глазами углы, стены. Людмила, карауля каждое её движение, наклонялась, помогала ей теснее придвинуться к обогревателю. Прижимаясь к тёплым кирпичам, Мария Васильевна чувствовала, как вместе с теплом в её сердце вливается острая режущая боль, которая, точно раскалёнными стрелами, впивалась в виски, наполняла голову пламенем. Она со стоном откидывалась на подушку, впадала в беспамятство. В бреду к ней возвращалась речь, а лицо и тело покрывались бурными пятнами и испариной. Мечась, она сбрасывала со лба влажное полотенце, прося Людмилу отослать ему его похоронку.

– Пусть получит, пусть! – болезненно напрягаясь, торжествовала она и, чутко вслушиваясь в робкие Танюшкины всхлипы, презрительно улыбалась, как бы ограждаясь своим презрением от кого-то невидимого и ненавистного.

К вечеру следующего дня на зелёном фургоне военной скорой помощи приехал из медсанбата врач. Открыв кожаный с глухими перегородками сундучок, он прежде мединструментов достал две

плитки шоколада и пачку сухого печенья с выдавленным на печенюшках словом – счастье. Осмотрев Марию Васильевну, врач сделал укол и, подождав пока она уснула, прощупал пульс. На улице, передавая сундучок пожилому усатому шофёру с погонями старшины, он сказал, что подобное наблюдал только на фронте, какой-то частный случай – все симптомы тяжелейшей контузии. Глядя на детей – выстроились на крыльце, молчаливо ловят каждое его слово, – преувеличенно приободрился.

– Главное – не волновать, тишина и покой. Неуверенно пообещал:

– Через денька два на поправку пойдёт.

И опять повторил, что главное – тишина и покой, он ещё надеется.

Через два дня приступы и в самом деле прекратились. С работы пришли проведать Марию Васильевну Ефросинья Худяк и Валентина Пикалёва. Валентина вернула пятёрку, а Ефросинья трёшку, которую когда-то она якобы занимала, а в срок отдать запамятовала. Вообще все соседи и знакомые обязательно приносили какие-то забытые долги. На что начальник Дома офицеров, и тот ничего нового не открыл, на минуту заскочил на «Виллисе», привёз бумажный мешок макарон и несколько банок сгущённого молока и говяжьей тушёнки, которые тоже, оказывается, были вырешены Марии Васильевне за хорошую работу ещё в прошлом квартале, но всё не представлялось okazji доставить. Все продукты и деньги принимала Людмила и тут же передавала Марьюшке, под её строжайший учет. Анька и Танька, бегая по улице в новых обутках, полученных в школе, не скрывали своей радости, что мамка, внезапно заболев, разучилась ходить и говорить.

– Нам все столько много должны! – хвалясь, рассказывали они подружкам.

Одна Мария Васильевна не проявляла никакого интереса ни к соседям и знакомым, ни к их подаркам. На целые сутки она задумывалась о чём-то своём, а забота и внимание окружающих даже как будто докучали ей. Иногда казалось, что, кроме своих детей, она не узнает никого и одних людей принимает за других. Людмила и Марьюшка, точно малому ребенку, с трудом скармливали ей за день две-три толчёных печенюшки. Военный врач, требовавший тишины и покоя, самолично убрал шторы, а кровать пододвинул к окну, чтобы, как он сказал, сама жизнь расшевелила Марию Васильевну – жизнь для неё теперь лучший лекарь.

И опять его слова подтвердились. Особенно заметно оживилась Мария Васильевна, когда окотилась коза и дети внесли в кутник на свежий золотистый подстил из пшеничной соломы двоих ещё влажных белолобых козлёнка. Один из них с чёрными круглыми пятнами вокруг глаз, напоминающими очки, уже через несколько минут, шатаясь, вставал на разъезжающихся копытцах и, взбрыкнув, падал головой на своего братца. Настойчивость, с какою он поднимался и падал, как будто придала силы и Марии Васильевне. Опираясь о стену, она впервые с помощью Марьюшки вышла на улицу, а потом

с палочкой уже и сама добиралась до завалинки. Врач, застав её на крыльце, до того обрадовался перемене, точно это он сам сделал свои первые шаги. Речь тоже начинала возвращаться, с трудом, но уже можно было догадаться, что она просит воды или подбить подушку. Правда, успехи Марии Васильевны насколько обрадовали доктора, постепенно настолько же и встревожили. Он было хотел передвинуть кровать за занавески, но натолкнулся на полный отчаяния умоляющий взгляд, махнул рукой, дескать, ладно. Но, как и прежде, потребовал тишины и покоя. Уходя, он более обычного был шутив, вместе с Аннушкой и Танюшкой погладил козлят и не в пример первому разу обещал твёрдо – мать скоро поправится.

Его твёрдость, кажется, даже Марии Васильевне подняла настроение. И хотя, лаская взглядом козлят, она грустила, лицо часто озарялось тихой улыбкой. Глядя в окно, Мария Васильевна успокаивалась. Наверное, поэтому Марьюшка, надумав вслед за Людмилой сходить к подруге, строго-настрого наказала сёстрам сидеть дома, а матери – больше смотреть на улицу. Аннушка и Танюшка ей не перечили, имели свой интерес. Как только они останутся одни – мать сейчас же часть сластей отдаст им. Так и случилось. Едва за Марьюшкой закрылась дверь, как мать подозвала их к своей табуретке, на которой лежали печенье и кусочек шоколада. Аннушка и Танюшка вначале отнекивались, но мать одну и другую так ласково погладила по голове, показав глазами, что будет смотреть в окно, сторожить Марьюшку на тот случай, если она вернётся, что они согласились, но пока только на шоколад.

Делая уроки, дети изредка поглядывали на мать, готовые тотчас мчаться на её зов, но она повернулась к окну, лежала тихо, словно уснув, и они позабыли о ней. Мать сама напомнила о себе. Аннушка и Танюшка, поспорив из-за чернильницы (каждая норовила подвинуть её поближе к себе), услышав стон, пронзительный, точно окрик, поначалу приняли его на свой счёт, но потом, увидев, что мать приподнялась и не отрывается от окна, подумали, что это она предупреждает их о возвращении Марьюшки. Но нет. С длинными гортанными звуками, сиюсья преодолеть немоту и в конце концов захлебываясь ею, она, побагровев, в волнении стала размахивать руками и громко стучать в окно, как будто старалась отстраниться от него, но почему-то опять к нему притягивалась.

Стукнула калитка, Аннушка и Танюшка увидели директора школы Михаила Михайловича Дундина. В серой обвислой шляпе и длинной потёртой кожанке, растёгнутой на все пуговицы, он недовольно крутил головой, словно бы высматривал хворостину. Занятый своими мыслями директор школы не обращал никакого внимания на суматошные, полные ужаса звуки Марии Васильевны. Анька и Танька, не понимая взываний матери, испуганно нырнули под стол. Негодуя, Мария Васильевна вскочила с кровати, нечаянно опрокинув табуретку, – ей пригрезилось, что её Степан вернулся. Но в тот самый миг, когда Михаил Михайлович вошёл в горницу, она узнала его, в смятении пошатнулась, отчётливо чувствуя, как под ступнёй что-то мягко хрустнуло и жгуче ударило в сердце. Она

застонала, силясь понять – что это? Но не смогла – для неё всё кончилось. И только детям, в страхе затаившимся под столом, было видно, что это хрустнула раздавленная печенюшка...

1983

ДЕНЬ ВОЗВРАЩЕНИЯ

Татьяне Ивановне Бойко, жене председателя колхоза «Власть труда», приснился сон. Пропалывая картошку, она услышала испуганный щебет ласточек и, ненароком взглянув на избу, обмерла. Клубы дыма, впрессованные в нависшую над трубой тучу, изба, раздуваясь, втягивала, точно насос. Стены и крыша лопнули, из распахнутых окон и трещин вырывались тугие змеистые языки, похожие на шевелящиеся щупальцы.

– Господи, Вася! – горестно вскрикнула Татьяна Ивановна и, обессиленно осев на грядку, проснулась.

Припоминая подробности, она не испытывала ни страха, ни слабости, а лишь досаду: изба взнялась, а она – Вася! Гляди-ко, прибежит... Татьяна Ивановна не могла себе простить растерянности даже во сне.

Посапывание детей, мерное тиканье ходиков, воздушное движение лунного света, залившего горницу и обласкивающего своим прикосновением грубые половицы, – всё это предстало ей таким неизъяснимо хрупким, что, вместо того чтобы утешиться, она вдруг всхлипнула. Она плакала молчаливо, без слёз, без горечи, не ведая и не помышляя о другой участи. Её мысленному взору представлялись: осенний сеющий дождь, словно туманом заволочший огороды и сопки. Муж – худой, жёлтый, в разбухшей шинели, не по размеру большой, будто с чужого плеча. И люди – размытыми тенями поджидающие на свёртках, а потом молча хлюпающие следом в пропитанных пушечным маслом чунях.

Они ехали на железнодорожную станцию на одноконной подводе всей семьёй. Дети, приспособив пустые мешки под плащ-капюшоны, правили подслеповатым мерином, а она незаметно поддерживала его, сердито нахохлившегося в своём болезненном негодовании. Когда вывернули на большак, увязалось особенно много народа. Замыкал шествие колхозный бычатник дед Тимченков, прогуливавший племенного быка. Закинув руки назад и задумавшись, он шёл как бы сам по себе, не подозревая, что ведёт тяжёлого угрюмого симментала, грозно позвякивающего двойной цепью.

– Куда он, куда он его? Он же половину колхоза стоит! – нервно вскидываясь Василий Аксентьевич и тут же, словно вспомнив, что всякий день находил минуту, заскакивал в бычатник полюбоваться породистостью быка, затихал – убаживают...

На станции опять вскинулся.

– На погост провожаете?! А я обязательств не давал, нет... Москва, она столица, она не выдаст... Я ещё оклемаюсь, я ещё вернусь.

Василия Аксентьевича затрясло в беспричинном гневe. Его и в вагон внесли трясущимся, точно в лихорадке. В последний момент выглянул из окошка, вылупато по-совьи взглянул разом на всех.

– Оклемаюсь, живой вернусь, – прокричал, будто угрожая, и исчез; демобилизованные морячки вынырнули, весело пообещав доставить флагмана в целостности и сохранности прямо в Кремль.

Никто не верил, что Василий Аксентьевич поправится, но на отчётно-выборном собрании на все доводы уполномоченного райкома – переизбрать председателя ввиду болезни – колхозники неожиданно дружно заартачились.

– Нехай остаётся, у нас к Аксентьевичу претензий нету, он в болезни не виноватый. А на место председателя ВрИО имеется, пусть пока покомандует, а там видно будет.

Татьяна Ивановна тоже не верила, что муж поправится. То есть в глубине сердца она никогда не сомневалась, что поправится, но здесь, в миру, где житейскую ношу мужа надо было нести изо дня в день одной, она не верила, не позволяла верить. Она полагала, что для этой ноши родилась и её не опрокинешь с плеч, не опрокинув судьбы. Поэтому сон и расстроил её, получалось, будто она ждёт мужа для какого-то своего облегчения. Нет-нет, Вася, она судьбой довольная.

Глядя на трепетного лунного зайчика, шаловливо прыгающего с одеяла на руку, Татьяна Ивановна вспомнила, как вчера, вся счастливая и запыхавшаяся, прибежала из конторы её старшая дочь Галина.

– Прыгайте, завтра папка приедет!..

Татьяна Ивановна вздохнула, и сад словно бы отозвался, тоже вздохнул, зашелестел листьями и смолк, будто прислушивался к далёкому рокоту машин, качающихся полотно аэродрома.

Всё же бабская доля полегче мужицкой. У них, у баб, всё сызмальства определено: дети – всё вокруг них, а потому ничего лишнего. А мужик?! Всю-то жизнь он, точно малое дитя, колготится, не ведая своей натуры, а и вызывает – по-своему ребячьему капризу может себе же назло пустить. Не умеют мужики думать телом, постыдное им сказывается в нём, а всё потому, что тело их не родит, как пашня, не дано им. Мы, бабы, счастливее...

Тополя за окном вспыхнули, пролились серебром, холодным, как и всякий металл, и ветер, уже не останавливаясь, широким захватом побегал по огородам и улицам, зашумел, торкаясь в ворота и ставни. Сейчас враз всю живность пробудит. И точно: на колхозном подворье заблеяли овцы, ударили петухи, нехотя залаяли собаки, не злобливо, только чтобы оповестить, что бодрствуют, а стало быть, и хозяева тут, нечего зря тревожиться.

Татьяна Ивановна тихо поднялась – пора на дойку. Разожгла печь, выстоявшиеся за ночь берёзовые поленья полыхнули, зашипели в кольцах скручивающейся бересты, пахло теплом и древесной смолой.

– Ма, ты встала?! – певуче, сквозь сон, спросила старшая дочь, и Татьяна Ивановна, вспомнив себя об эту пору, ласково улыбнулась,

понимая, как сладок и желанен сон, когда мать порхает у печи. И, уже не боясь разбудить детей, стукнула чугуном, пододвинула поближе к огню и вместе с ухватом будто выхватила из полымя давно забытую материнскую присказку.

– Спи-те-спи-те, у нас ноне в печурочке золотые чурочки.

Сказала и усмехнулась своей внезапной памятью, и утвердилась в догадке – мы, бабы, счастливей.

Хозяйничая у печи, Татьяна Ивановна напрочь позабыла о дурном сне, о тревогах, им навеванных, и даже о том, что на сегодня она от работы освобождена. Близящаяся встреча с мужем больше не томила её, она ждала его через ожидание детей, и радость встречи, точно отражённый отблеск огня на стене, бурлила в душе хотя и неярко, но ровно. Звякнув подойником, едва не выронила его, так внятно, будто над ухом, прозвучал надтреснутый голос учётчицы Людмилы Краюхиной (дорожной и толстоногой, зимой и летом не снимающей солдатского бушлата и сапог со вставными клиньями на голенищах).

– Назавтра ты, Татьяна, от дойки освобождённая, встречай своего кормильца, нашего председателя, – сказала и весело со значением глянула на доярок. – Что, девоньки, спроворим без неё? – и, не дожидаясь согласия, заключила как давно решённое: – Спроворим, ещё и на чарку заглянем, так что ты уж того – ...товсь.

Василий Аксентьевич приехал в обед и, как всегда, неожиданно. То есть его ждали, дети заучили расписание всех проходящих поездов и, загодя, заслышав паровозные гудки и нарастающий, точно обвал, стук колес по железнодорожному мосту, спрыгивали с подводы, выбегали на перрон. Однако приближение московского скорого проворонили – всё равно напроход пойдёт до Манзовки, там у него остановка. В самый последний момент Татьяна Ивановна спохватилась: мало ли?! Шумнула детям выбежать. Мерин, воспользовавшись, что не до него, тоже потянулся к перрону, точнее, к кирпично-красной водокачке, круглой, будто гигантский гриб, выросший посреди весенне-сочного лужка пырея. Татьяна Ивановна на какой-то миг замешкалась, бросилась наперерез и вовремя. Резкий, почти свистящий гудок паровоза, слившийся со стуком вхолостую прокручивающихся колёс, гулко прокатился рядом, накрыв облаком пара и её, и подводу, и всё-всё вокруг. (Она даже толком не поняла, что поезд остановивался.) А когда облако рассеялось и где-то там, за спиной, ещё громыхали удаляющиеся вагоны, она увидела его: худощеого, как щепка, в распахнутой шинели, с вещмешком в руке, пугливо озирающегося, будто спрыгнувшего не на своём полустанке.

Дети, мал-мала меньше, рваной стайкой неуверенно кинулись к нему и тут же в сомнении смущённо остановились. Татьяна Ивановна почувствовала, как внутри всё вздрогнуло и сразу ноги ослабли так, что она, чтобы не упасть, вынуждена была привалиться к лошади, уткнуться лбом в её жёсткую гриву. «Всегда-то он ничего не видел перед собой, всё ему колхозное роднее родных детей». И хотя она понимала, что не справедлива – капризничает, на душе

полегчало, она даже улыбнулась, увидев, как неумело он пытается приласкать детей, а они вёртко ныряют у него под руками, хватаясь за полы, тянут во все стороны, будто с намерением повалить.

Домой ехали не спеша, дети, рассевшись на расстеленной на объездах шинели, правили мерином, а они сидели, свесив ноги: поглядывая на дорогу, на избы, раскиданные вдоль по большаку, вдыхая речной запах первой зелени и уже стойкого сухого тепла, то набегающего с полей, то отвесно падающего откуда-то сверху, будто трель жаворонка.

Он, шурясь, смотрел на солнце, на сопки, на равнину пашен и пойменных лугов, смыкающуюся с горизонтом, и Татьяна Ивановна, невольно повторяя его, тоже смотрела. И всё было таким родным, близким, с каких-то таких пор, когда, наверное, не было ещё ни его, ни её самой. Но что-то связанное с ними, конечно, уже было и тогда. Она взглянула на детей, заморожено оглядывающих пажити, и удивилась понятливости сердца. Желанность была, а уже потом всё-всё вокруг и сама Земля. Мы все желанные здесь. Она незнаемо зачем взяла его лёгкую истончившуюся в болезни руку и прижалась щекой, чувствуя, как тяжелеют глаза, увидевшие то, что прежде открывалось только сердцу. Он руки не отнял, но и её волнения как будто бы не принял, смотрел окрест задумчиво и спокойно каким-то верхним рассеянным взглядом, и лишь борозда шрама вокруг шеи налилась, побагровела.

– Вась, может, не братья тебе за это председательство?

Он ничего не ответил, легонько высвободил руку, а когда на свёртке их встретили колхозники, воспрял, приободрился, забыл гимнастёрку натянуть, в натальной рубаше прыгнул... и начались рукопожатия, взаимные похлопывания, шутки. Потом, взяв лошадь под уздцы, поставил в тенёк у амбара – он приехал. Подходили ещё люди, тесня друг друга, располагались поближе к председателю – это ж сколь не виделись, считай с Покрова!

Слушали Василия Аксентьевича с интересом, в особенности, рассказ об операции, о том, что он, Василий Аксентьевич, своим примером помог науке, прославил весь Дальний Восток и, конечно, колхоз «Власть труда», шутка ли – первому в стране «удалили» щитовидную железу, притом без наркоза и, вишь ты, врач-хирург девять лет жизни гарантирует, и это так, без напуска, по теории, а по нормальной практике её, гарантии, на все пятнадцать хватит, научно-исследовательский институт потом вызовет Василия Аксентьевича в Москву и дополнительно определит ему рабочий запас.

Рассказ трогал, поднималась классовая гордость: нас в городе колхозниками навреде как обзывают – земля, темень, а мы-то совсем другое, мы – свет. И хотя от Василия Аксентьевича никто слова не слышал о мытарствах, уже по одному тому, что его Татьяне, при такой-то ораве детей, пришлось свести на продажу корову, догадывались и о них. А потому всякую его промашку на себя примеряли с ревностью, сокрушались, вздыхали, не находя выхода, но и удача если выпадала ему – до слёз смеялись, радовались, а дед Тимченков

по своему обыкновению постукивал батошкой – во-во, пусть маленько помнят нас, пусть помнят.

Татьяна Ивановна не принимала участия в разговоре, но само её присутствие помогало, втягивало в него баб. Лузгая семечки, они образовали свой круг, который с приходом учётчицы Людмилы Краюхиной, бабы хваткой и острой на язык, стал вроде бы как заглавным. Осаживая баб, мужики ссылались на тяжелую внешнюю обстановку. Получалось, что падёж скота – это прежде всего результат происков чуждых элементов и империалистов, скрывающихся за железным занавесом. Угадав в грозных словах повадку Гошки Парамонова, которого ныне даже дети называют не иначе, как «ври-а», подразумевая, что он горазд врать, бабы и вовсе захватили инициативу.

– Каждый день у нашего «ври-а» новые распоряжения и указания, ещё одного не справишь, а он уже другое поворачивает.

Неведомо что заставило бы баб охолонуть, не случись колонны грузовиков, гружённых полосами строительного железа. На какое-то время громыханье и лязг прицепов прервали разговор, а потом и переменили – аэродром строят.

– Эх, один бы такой возок нам на кузню! – с горечью сказал Василий Аксентьевич.

И теперь все, глядя на грузовики, выворачивающие в сторону гарнизона вслед за головной зелёной эмкой, зеркально взблескивающей на солнце никелем бампера и колёсных тарелок, невольно приценивались: как оно... если бы один возок на кузню.

То ли виною разговор о недостатках, которые, если верить Гошке Парамонову, вовсе не недостатки, а крутые ступеньки для победного шествия в светлое завтра, то ли ещё что, но внезапно вырвавшаяся горечь мужа встревожила Татьяну Ивановну. Вспомнились: мечущиеся ласточки, тяжёлые клубы дыма, впрессованные в нависшую над трубой тучу, и крик – «Вася», от которого вздрогнула, точно от оклика, и испугалась, уверенная – это оклик беды. Предчувствуя недоброе, Татьяна Ивановна подозвала старшую дочь и, наказав собрать детей, затеявших догонялки вокруг амбара, ловила минуту, чтобы напомнить мужу, что пора домой. Но, видно, не минёшь уготованного.

Грузовик, замыкавший колонну (порядком отставший), выворачивая на шоссе, взял нерасчётливо круто, прицеп подкинуло, крепление лопнуло, и полосы железа, со скрежетом грякнув, свалились частью в кювет, а частью на обочину, издали напоминая рисунком гусиное крыло. Вылезли шофёр с напарником (оба старшины), беззлобно ругаясь, обошли машину, закрепили стойки прицепа и уехали – потом вернутся с солдатами, заберут. Не успели скрыться, а Василий Аксентьевич уже зажётся, торопливо натягивая гимнастёрку, потребовал немедля собрать металл, стаскать на кузню, благо рядом, за амбарами. Поддавшись его настроению, мужики повскакивали с мест, но дед Тимченков как припечатал – диверсия!

Татьяна Ивановна, всё это время старавшаяся предупредить беду, увидев, что мужики враз растеряли решимость, замялись,

оглядываются друг на друга, кинулась к лошади – давай, подводой! Страх за мужа, что он останется один, преобразил её. Потянув вожжи, она, точно парубок, стоямя вскочила на телегу и, рывками горяча мерина, погнала к просыпанному железу. Её почин будто подстегнул всех – ах ты, мать честная, мужики мы, аль не мужики?! На руках, на подводе, за полчаса прибрали металл, будто и не было его, будто корова языком слизнула. Дед Тимченков и тот принял участие, вместе с детьми приволок кусок швеллера.

– Однако зелёная эмка подъехала, смотрют, выискивают, а мы с ребятей задами, нас не высмотришь, – весело похвалился дед, и все враз насторожились:

– Зелёная?! Должно – головная, генеральская... Быстро она... А что ей – порожняком? Ей и до райцентра – десять минут...

Райцентр упомянули так, по ходу, как ближайший населенный пункт, а упомянув, смутились – районное начальство там, милиция.

– Ничего, мы металл не прячем, вон он весь, – сказал Василий Аксентьевич, кивнув на аккуратно сложенный у стены штабель. – А за сохранность нам обязательный процент положен, не бойсь, мужики, подождём.

Ждали всем составом на молочно-товарной ферме, потому как здесь был единственный телефон в округе. За разговорами час прошёл, второй – никого. Притомились. Надо бы Гошку Парамонова оповестить, дети вот только что, распрягая мерина, видели его на конюшне, вызвались привести, получилось, что кстати. Открывает дверь, звонок из райкома – первый секретарь Волошин Иван Сергеевич. Растерялись – кому трубку, два председателя налицо? Выручил Василий Аксентьевич – давай, Георгий...

Иван Сергеевич говорил громко, отрывисто, каждое слово – главное. Его густой придавливающий бас слышался отчётливо и ещё как-то неправдоподобно. Казалось, что секретарь, во много раз уменьшенный, находится среди присутствующих – у Георгия Парамонова под фуражкой. Вначале поинтересовался ходом лесозаготовок, потом справился о посевной, особенно упирал на посеы сои. С надоем на фуражную корову выскочил сам Гошка, по этому показателю колхоз шёл первым. Однако секретарь остановил – сводки он читает регулярно.

– Кто у вас там металл растащил? Военные рассыпали, а вы воспользовались, подмели. Вы понимаете, чем это пахнет?

В трубке щёлкнуло, точно на другом конце провода взвели курок. Гошка суетливо оглянулся, ждал разъяснения, но никто не ответил, тишина, каждый был занят своей мыслью.

– Нет, Иван Сергеевич, мне ничего не известно, но я немедля разберусь и доложу.

Гошка хотел было переминуться с ноги на ногу, рыснул сапогом и, испугавшись своей непростительной вольности, замер – на полусогнутых.

– А что, Бойко уже вернулся?

– Да, сегодня.

Иван Сергеевич приказал им вместе с Бойко находиться, так сказать, на месте преступления, он выезжает.

Кузня и столярка размещались под одной крышей в деревянном приземистом строении, которое можно было бы принять за амбар, если бы вокруг не громоздились побитые ходки, бестарки, сани, веялки и прочий поломанный сельскохозяйственный инвентарь, напоминающий здесь в некотором роде покинутое поле боя. Оба помещения разделялись глухой стеной и имели наружу отдельные двери. В столярку – двустворчатые, широкие, как ворота, при нужде – закатывая внутрь параконную телегу, а в кузню – обыкновенные, оббитые железом и почти всегда настежь распахнутые. Несмотря на преимущества, помещение столярки считалось подсобным, при кузне. И главным человеком предприятия почитался не дядька Митяй, искусный столяр, всегда в картузе и с карандашом за ухом, тихий, ссутулившийся, не расстающийся с сигаркой самосада, а Алексей Знова. Рослый, широкоплечий, – лямки прорезиненного фартука крест-накрест на голых бугристых лопатках. Волосы и усы чёрные, как смоль, зубы вот только малость поржавленные, а то хоть на плакат – сельский рабочий класс. Весомое преимущество в пользу Алексея Зновы, тем более что наделил его им – сам Иван Сергеевич Волошин, в присутствии местного начальства сказал об этом и самолично похлопал Алексея по плечу, одернув на нём прорезиненный фартук.

Прослышав о приезде секретаря, народ ожил, задвигался и, хотя приказанию Гошки Парамонова – разойтись по рабочим местам никто как будто не возразил, уходить не торопились – что скажет председатель, как он?..

– Верно, хлопцы, давайте, а то не успел приехать, а уже сбил своим приездом, – сказал Василий Аксентьевич и, скрывая тревогу, весело посмотрел на колхозников, обещая взглядом, что всё будет в порядке.

Татьяна Ивановна, ставшая едва ли не главным застрельщиком доставки просыпанного металла к кузне и потому чувствовавшая особую душевную приподнятость, сейчас невольной подсадовала на мужа, что он поддержал Парамонова. Ну, что он, точно двухлеток, заступает свои постромки, – подумала она и неожиданно воспротивилась ему:

– А кто ты такой, чтоб указывать?! В колхозе обчество коллективно решает.

Сказала и смутилась, но, увидев, что Георгий Парамонов уже воспользовался разногласием, уже принялся за увещевание, стараясь более всего обозначить им не примирение, а своё старшинство, осадила и его.

– Не шибко старайся, Георгий Иванович, секретарь-то поумней будет, мы его хотим послушать.

Отчаянность Татьяны Ивановны словно разбудила баб. Людмила Краюхина, со свойственной ей бесцеремонностью, махнула рукой:

– Да что их слушать, айда, мы и сами найдём дорогу на кузню!

Она настежь распахнула дверь, и колхозники, подчиняясь общему настрою, всем собранием вывалили во двор. Однако к кузне пошли не всем обществом и не прямой просёлочной дорогой, сворачивающей за амбарами к большаку, а потекли через дворы и огороды, каждый своим путём, намереваясь попутно оповестить о сходе сельчан – шутка ли, из-за просыпанного металла секретарь едет, скандал... Глядя на деда Тимченкова, торопливо засеменявшего мимо бычатника в сторону овощеводческой бригады, Татьяна Ивановна усмехнулась: народу на кузне бу-у-удет!..

Она стояла в окружении своих детей: трёх подростковых дочерей, тонких и длинношеистых, и троих сыновей поменьше, погодок, держащихся за руки и молчаливо поглядывающих по сторонам, а люди всё подходили и подходили. Даже директор школы Леодор Васильевич Топорков пришёл, вместо приветствия растерянно покивал всем и, опершись на ковинку, замер. Задумчивый и подавленный, он ни с кем не заговаривал, стоял отчуждённо, словно бы провинившийся, и Татьяна Ивановна, невольно отозвавшись на его растерянность, вдруг по-новому восприняла сход, теснее придвинулась к детям и тоже задумалась.

Алексей Знова, обеспеченный металлом, старался – весело вызывал его молоток. Выныривая из дверного проёма, Алексей взмахивал длинными щипцами, и красная с синими тенями подкова плашмя шлёпалась в железную, наполненную машинным маслом, бочку. Масло взбулькивало и, пыхнув коротким дымком, стояче качнувшись, застывало.

Георгий Парамонов и председатель пришли вместе. Георгий сразу начал с упрёков и угроз, но, натолкнувшись на людскую стену, пошёл на попятную – пусть никто не думает, что мы не можем сказать, можем и скажем, если надо, и своё – да, и своё – нет. Сложилось впечатление, что Гошка, хотя и не принял сторону председателя, против – не пойдёт.

Перед Василием Аксентьевичем мужики расступились – давай, сюда. Подвинулись, уступили место на перевёрнутой бестарке – слышал, нашего племенного быка хлопчут в Хороль, на выставку?!

Бабам не понравилось, что председатель, не взглянув на свою Татьяну, сразу подсел к мужикам – ишь ты, козыряет?! Стоя за её спиной, они недовольно зароптали, всячески выказывая, что с детьми она здесь главная, а не он. В ответ мужики громко зашикали, но и обрадовались, что Василий Аксентьевич, словно бы и не было выпада, весело начал рассказ о ВДНХ. Конечно, он взглядывал и на неё, и на детей. И по тому, как они теряли скованность, оттаивали, он и сам розовел лицом, улыбался. И хотя вскоре он уже владел всеобщим вниманием, по украдчивым взглядам угадывал, что невидимые нити ведут и к ней, его жене.

Татьяна Ивановна стояла, обхватив плечи, отсутствующе глядя перед собой. Она была глуха к взрывам смеха и в то же время, когда, забываясь, прыскали дети, усмехалась. Сейчас ей не нужно было смотреть – чтобы видеть, и слушать – чтобы слышать. Всё окружающее, вся близь и даль слились в её сердце: вот – он, вернулся к ней,

а объясняется в любви к ним. Вот – они, любят его, а чувствами с нею – дети! Она облегчённо вздохнула – дети, не понимая, понимают всех. Она придвинулась к ним, к родным головкам – всё, что он делал и делает, он делает для них, для детей. И стало быть, прав, и стало быть, он – для всех. Она вздрогнула, младшенький растолкал сестёр, крепко ухватился за её юбку, насупился.

Секретарь приехал на раскрытом «Додже», как всегда в полувоенном защитного цвета кителе, наркомовской фуражке, тёмно-синих галифе и зеркально начищенных хромовых сапогах. Не ожидая встретить столько народа, в удивлении замешкался, словно бы проверяя – на месте ли, потрогал тёмно-русые пробитые сединой усы, громко поздоровался со всеми и, повелев шофёру маленько отъехать, направился к мужикам.

Иван Сергеевич Волошин, в прошлом сучанский шахтёр и партизан, любил бывать на колхозных кузнях – знал в лицо всех кузнецов района. Сейчас, услышав весёлое вызванивание молотка, остановился, полное одутловатое лицо подобрело – вот он, сельский рабочий класс... Алексей Знова, словно почувствовал, что вспомнили о нём, нарисовался в проёме, швырнул подкову в бочку.

– Здравствуйте, Иван Сергеевич!

Секретарь махнул Алексею, чтобы подошёл, но он нырнул обратно. Показалось: не понял знака. Но он тут же опять вынырнул, вытирая руки ветошью, улыбался.

– Наказал подручному поддерживать огонь – производство.

Волшебное слово для Ивана Сергеевича, задержал руку Алексея.

– В том-то и дело, что производство, оно не отпускает рабочего человека, всего захватывает, не то что там...

Кивнул на мужиков.

– Пока колоски растут – можно собраться, посудачить. – Интонация была неуловимой: то ли шутит секретарь, то ли упрекает? Алексей решил, что шутит, засмеялся.

– Так-то оно так, но все наши труды ради них.

– Ради них и на преступление можно пойти, – сказал секретарь, и опять неуловимость: то ли спросил, то ли подвел итог.

Колхозники насторожились: чего ждать? Увидев, что секретарю никак не минуть Татьяны Ивановны – будто совесть со своими детьми на его пути, приободрились: вот и прояснится сейчас. Однако Иван Сергеевич, хотя и узнал Татьяну Ивановну сразу и сразу догадался, почему жена председателя здесь с детьми, глянул на неё вскользь, издали, а когда проходил возле, слегка подтолкнул Алексея – отгородился, получилось, что не заметил её. Уловка секретаря как-то нехорошо задела всех, почувствовалось, что поблажки не будет, да если так-то – то она и не нужна никому. Секретарь уловил холодную перемену в людях, отбросил двусмысленность, отвердел взглядом.

– Как понимать, Георгий Иванович, это же форменный грабёж средь бела дня – инициатора надо судить.

Татьяна Ивановна невесело усмехнулась.

– Так оно ежели судить, то, однако, всех придётся, весь колхоз, – переступая с ноги на ногу и опираясь грудью на палку и опять отстраняясь от неё, заметил дед Тимченков.

Во всей его фигуре было что-то суетливое, прыгающее, даже не верилось, что с быками управляется тоже он, всегда спокойный и чуть-чуть медлительный.

Замечание деда внесло разрядку, горьковатую, но всё же... мужики зашевелились, секретарь повернулся к Алексею Знова.

– Сейчас приедет Стрешнев, начальник милиции, что ему ответит сельский рабочий класс – где взял железо?

Алексей пощипал свой ус, выпрямился.

– Отвечу: всегда было. Скажу: вишь, сколь отремонтировать всего навезли, а так не бывает, чтоб отремонтировать было что, а чем – не было.

Секретарь неестественно улыбнулся. Колхозники, пряча откровенно повеселевшие лица, опять зашевелились – именно так всегда было и так есть. Георгий Иванович, стараясь не упустить благоприятной минуты, подскочил к секретарю, ему показалось, что он маленько помягчел.

– Иван Сергеевич, прикажите только, немедля снимем подводы с овощной бригады и доставим железо в полной сохранности куда следоват.

Он замер, весь заострившись, точно охотничий пёс в ожидании сигнала хозяина, готовый бежать, исполнять приказание. Однако бежать не пришлось, неожиданно подал голос Василий Аксентьевич.

– Пустое это.

Он встал. Татьяна Ивановна догадалась, что он слегка нагнул голову, чтобы не выказывать покрасневшего шва вокруг шеи, чересчур уж наглядно выдает его волнение. А со стороны показалось: из-за заносчивости, мол, председатель здесь – он.

– Ежели мы повезём металл – получится, будто мы его украли. А мы его взяли на обочине как бесхозный. Нам за его сохранность и возвертание в строй определённый процент полагается. Не повезём мы его никуда, у нас подвод не шибко-то... Ты, Георгий, – шли, сам говорил: запурхались овощеводы. И у них намерен транспорт отнять?! Не пойдёт, пока я член правления – я против.

– В том-то и дело, Василий Аксентьевич, что ты не в правлении. Неужто тебе не сообщили? – игриво, точно о пустяке, справился секретарь.

Василий Аксентьевич ничего не ответил, коротко взглянул на Парамонова, медленно сел... Тягостное молчание снова нарушил дед Тимченков, сердито выступил из общей массы народа.

– А Гошка-то, Гошка наш... чой же он робит?! – Придирчиво повернулся к Парамонову, в глазах блеск, то поднимет свой ботажок, то с силой оземь, совсем осерчал.

– Ай-яй, Гошка-Гошка, приказы посередь бычатника прилепливаешь – правление, а живого председателя зараз однако молчком переступил. Ай-яй, Гошка-Гошка!..

– Погоди, дед, – встрял Алексей Знова. – Заладил: Гошка-Гошка!.. Не было в правлении разговору о выводе Василия Аксентьевича. Как был председателем, так и есть, а Георгий Иванович – ВрИО председателя, то есть временный, до возвертания Василия Аксентьевича сполняющий его обязанности.

Твёрдость, с какою Алексей (сам член правления) возразил деду, убедила его. Теперь всё внимание на секретаря – как понимать сказанное?

– Ну коль рабочий класс утверждает, что разговору о выводе не было, стало быть, запомятовал... Стало быть, с возвращением, председатель.

Секретарь подошёл к Василию Аксентьевичу, но руки не пожал, не успел, отвлекла зелёная эмка, зеркально сверкающая никелем бампера и колёсных тарелок. Подворачивая к «доджу», качнулась на яме, солнечный луч полыхнул в стёклах и сгас. Глядя на легко-вужку, все враз признали в ней ту, военную, что шла впереди гружёных грузовиков. Хотя секретарь как будто предупредил, что подьедет Стрешнев, всё же появление начальника милиции неприятно удивило. Выскочил из машины, открыл переднюю дверцу.

– Михаил Давидович, приехали.

Стройный, подтянутый, в талии гибкий, в движениях точный и цепкий, он словно бы излучал волны физического здоровья и какой-то озорной молодцеватости.

– Ээ, дарагой, Андрюша, зря бэспакоился, металл на месте, всё на месте, – из кабины вылез крупного телосложения мужчина в светло-зелёном мундире и такой же фуражке с чёрным околышем. – Гамарджоба! Здравствуйте, хорошие люди.

Грузность военного, акцент, как бы намекающий на родство с вождём и, конечно, – добродушие, исходящее от всей его крупной и медлительной фигуры, тотчас заставили сельчан поверить: да – полковник, да – грузин, этот не выдаст, нет. Василий Аксентьевич встал с бестарки, следом встали мужики, невольно выстраиваясь по обе стороны от него в неровную шеренгу. Бабы почти вплотную придвинулись к мужикам, оставили Татьяну Ивановну одну с детьми. Секретарь умышленно загородил её.

– Всё и все на месте, Михаил Давидович, а металл не отдадут, – улыбнулся он.

Его улыбка тут же как бы продлилась на лице начальника милиции.

– Наверное, оно ихнее, – предположил Стрешнев, не скрывая весёлого ехидства.

– Нет, оно не наше, но за сохранность нам положено вознаграждение, мы его частью из кювета взяли, – сказал Василий Аксентьевич, в своей новой манере слегка нагнув голову.

– Аа, вознаграждение, – с неестественной весёлостью изумился Стрешнев, и его тёмно-синие широко поставленные глаза отуманились, стали светлее и выразительнее. На гулянках просто с ума сводит девчат эта их выразительность. – Будет вознаграждение, обязательно будет, – словно бы проникаясь внезапным озорством,

пообещал начальник милиции и, не отрывая взгляда от Василия Аксентьевича, поправил кобуру, пробежал пальцами по кожаному поводку, пристёгнутому к рукоятке нагана.

– Ээ, драгоценной Андриуша, правильно говоришь, правильно, – пристально, с каким-то особенным значением посмотрел на него полковник и, отгеснив, подошёл к Василию Аксентьевичу. – Председатель, из Москвы?..

На вопросы полковника, опережая Василия Аксентьевича, отвечали колхозники и в большинстве директор школы Леодор Васильевич Топорков. Выяснилось, что председатель только что с поезда, ещё дома не был. Что ему первому в стране «удалили»

щитовидную железу – врач гарантирует девять лет жизни. Что с детьми – это жена Василия Аксентьевича, ей пришлось продать корову, чтобы выволить мужа из Москвы.

Полковник в сопровождении секретаря и начальника милиции подошёл к Татьяне Ивановне. Она покраснела, румянец залил шею, руки. Дети отступили назад, она сама, словно бы защищая, отгеснила их. Полковник взял её руку.

– Здравствуйте, замечательная Татьяна Ивановна. Это всё наши солдатики виноваты. Даю слово, что весь этот металл останется в колхозе, а взамен – пусть все ранние овощи колхоз продаёт прэжде всего в наши гарнизонные столовые.

Он поцеловал её руку, круглые щёки заалели, точно яблоки. Глядя на неё, дети смущенно опустили головы, невольно разделяя её волнение.

– Приглашай, Татьяна Ивановна, на застольную встречу с твоим любэзным Василием Аксентьевичем.

Не выпуская руки, повел её к легковушке. Дети отстали, а потом поняли... кинулись к машине. Проходя мимо Василия Аксентьевича, Татьяна Ивановна хотя и зарделась пуще прежнего, голову горделиво подняла, в фигуре появилась ладность, осанистость.

– Татьяна Ивановна, а нас что же не приглашаешь, – весело окликнул секретарь, беря под руку Василия Аксентьевича и Георгия Парамонова и тоже направляясь к машине.

Татьяна Ивановна чуть-чуть придержала полковника, приостановилась, победно глянула на секретаря, повернулась к бабам.

– А я вас, Иван Сергеевич, не приметила. Ну, раз вы здесь – милости просим.

Секретарь засмеялся.

– Я-то приметил сразу, да вот не мог вспомнить: жена ли председателя? А теперь вижу – жена.

Он опять засмеялся. Бабы ободрились: эго, Татьяна наша... Радуюсь её победе как своей собственной, они оживились и тоже, повеселев, заспешили к своим хатам вытаскивать из подполов всё, что есть лучшего – председатель вернул, кормилец.

1984

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Яков Антонович, припадая на левую ногу, ходил взад-вперёд возле полуторки, ожидая и страшась поезда. Но он не пришёл, точнее прийти – пришёл, детей не привёз. С души отлегло. Садясь в машину, он видел посветлевшие лица доярков, но как осуждать их. Он попросил Геннадия Пушкарёва остановиться возле колхозного клуба и, пока не скрылся за кирпичной пристройкой, чувствовал на себе молчаливый взгляд баб. В тот день с помощью художника он перенёс полный текст телеграммы на обратную сторону киноафиши и вывесил на тесовом заборе напротив детсада.

«На днях хабаровским скорым отправляются дети дмитриевский детдом. Обеспечьте встречу. Отpravку. Усыновлению населением не перечить. Верно. Полковников».

Телеграмма была отправлена из Владивостока накануне праздника, и этим её некоторая bestолоковость оправдывалась. Во всяком случае, для Якова Антоновича Хвоцца, одинокого мужика, бывшего бригадира колхоза «Путь социализма», а теперь председателя сельсовета.

«...Не перечить». Он представил сутолоку больших вокзалов, опаздывание поездов, неразбериху, станционный кипятик с привкусом алюминия, пассажиров на крышах и подножках вагонов, настроенных во что бы то ни стало, а первую годовщину Победы отмечать непременно дома, и уже знал – телеграмму отправили загодя в расчёте на всеобщее понимание: детям – места в первую очередь. Он глубоко вздохнул. Вполне возможно, не Полковников, а полковник такой-то. Впрочем, если обошлось без путаницы – тогда тем более хорошо, что у отправителя такая звучная военная фамилия. Яков Антонович был уверен, что и на председателя колхоза она как-то повлияет и он не откажет в машине. «Конечно, он и так не откажет – дети... и всё же военная фамилия по нынешним временам очень даже неплохо», – думал Яков Антонович, мысленно намечая порядок предстоящих ему работ.

В первый день они выехали на станцию после обеда. Неожиданно сообщили, что из Спасска к ним прибывает какой-то московский, выбившийся из графика. Яков Антонович, шкандыбая, прибежал на молочно-товарную ферму и на счастье застал Геннадия Пушкарёва (приехал с обеденной дойки, въезжал в ворота). Яков Антонович только что и дал снять фляги с молоком, а дояркам приказал сидеть.

Влезши в кузов и перебросив непослушную ногу через лавку поближе к кабине, вынул из нагрудного кармана кителя телеграмму и, прочитав вслух, махнул Геннадия, чтобы погонял.

– Там, девочки, всё обсудим... скорым со Спасска сорок минут ходу, как бы не опоздать.

Доярки, минуту назад весело поглядывавшие на своего бывшего бригадира, пригорюнились: это же что, лишний рот в дом?

– Э-хе-хе, – громко, будто за всех вместе вздохнул Яков Антонович. – Усыновлению населением не перечить.

Он подтянул ногу: как тут перечить? Два дня назад приезжал директор детдома, наскребли по сусекам мучки да соевого жмыха, с расчётом до июля, с нового полугодия элеватор обещал пособить, теперь не хватит... Яков Антонович опять глубоко вздохнул, и бабы, чувствуя, что их бывший бригадир совсем уже зажурился, заговорили: о батуне, который довольно-таки поднялся, о редиске, по такому теплу и она к двадцатым числам наберёт, о крапивном супе, в общем, жить можно.

На станции, оставив полуторку на привокзальной площади у конюязи, покрашенной под шлагбаум, Яков Антонович зашёл к дежурному по вокзалу. Дежурил Игнат Воронько, мужик занозистый и скандальный.

Сейчас Игнат изумлял своей вежливостью, точно дорогого гостя, посадил Якова Антоновича на свой стул, сам сел на лавку. Разрешил полуторку подождать прямо к перрону. Объявил, что, если понадобится, он задержит поезд.

– Пусть потом телеграфируют, что, мол, Черниговка задержала. А то, понимаешь, стоянка три минуты. Они, эти пассажиры, катят, а того не разумеют, что станция Мучная – это и есть Черниговка и что она районный центр. А от так, если маленько подзадерживать, то...

Якову Антоновичу никогда не приходилось бывать свидетелем Игнатовых рассуждений, и он очень удивился – такому человеку, как Игнат, нельзя давать власти, все его ограничения и послабления всегда будут противозаконны. Однако его разрешением воспользовался, полуторку подогнал к перрону, чтобы дети ещё с поезда увидели и порадовались машине. Да и стоять... лучше здесь.

Дома, неволью стыдясь душевного облегчения, испытанного на вокзале, Яков Антонович мысленно укорял себя: ещё ничего неизвестно – хорошо это или плохо, что дети не приехали именно сегодня. Возможно, завтра он не привезёт и доярок.

Так оно и вышло. Они стояли на дощатом перроне вместе с директором детдома Дмитрием Ивановичем Коломбиным, а чуть внизу, за нестройным рядом торговых, тоже ожидающих поезда, стояла пустая полуторка с приткнутым к борту довоенным велосипедом. До обеденной дойки было часа два, полдень ещё только вступал в силу. В молодой сочной зелени как-то тягуче гудели крылатые музыканты, муравьино-подобные насекомые. В их паутинистом нытье день изнывал, томился. Иногда со стороны речки упругими порывами налетал ветер и словно бы смывал паутину. Рукавастый пиджак Дмитрия Ивановича вскидывался, округлые очки взблескивали, он походил на длинноногую умную птицу. Сходство с птицей придавали очки и острый длинный нос. Казалось, что именно носом Дмитрий Иванович всё что-то высматривает и высматривает.

Но и на этот раз детей не привезли. Помогая затаскивать велосипед в кузов, Яков Антонович сказал директору, чтобы завтра он

не приезжал: мыслимое ли дело, на велосипеде по такой дороге?.. Пусть лучше подготовятся к встрече, завтра День

Победы, может, какую самодеятельность организуют, в некотором роде праздничный стол. А здесь, на вокзале, они с Геннадием Пушкарёвым сами справятся. Якову Антоновичу не хотелось, чтобы Дмитрий Иванович приезжал, ещё и потому, что надеялся: завтра детей привезут. И хотя дети есть дети, человеки, а всё же люди постареют... Надо чтобы им обрадовались в детдоме и в первую голову директор, Дмитрий Иванович, тут его чувства нужно поберечь, не расплескать.

– Ежели что... десятого приезжайте. Да и то... загодя позвоните, – посоветовал Яков Антонович.

За ночь несколько раз просыпался из-за тяжёлого натужного гудения бомбардировщиков – учебные полеты. Выходил на улицу, смотрел на сияющую взлетную полосу аэродрома, потом на чёрное, усыпанное звёздами небо – Млечный Путь, чуть накренившись, лежал, точно озеро в озере. Шорох листьев, сладковатый запах яблонь, холодная колодезная вода, отдающая свежим срубом, вдруг отзывались в душе мучительной тоской по прошлой неудавшейся жизни. Яков Антонович уходил в избу, ложился на широкую, твёрдую, как полати, кровать и засыпал. И опять над ним словно бы нависал рокот самолётов, который, как это бывает только во сне, начинал медленно переливаться в рокот тракторов. Какое-то время Якову Антоновичу слышится стрёкот сенокосилки, и он всё дальше и дальше уходит с литовкой к реке, высматривает Полю. Вон бежит с кастрюлькой: Яша! Они садятся возле шалаша. Легко, вольно вокруг, повядшая за день трава пахнет, томит, а в небесных прогалинах голубизна, кажется, это их с Полей души, разливаясь, сливаются.

– Коля! Где наш Коля? – спрашивает он, и Полина вдруг отступает, отступает. И уже в военном городке. Груды развалин, пожараще. Перебитые деревья валяются, кора висит, как рваная одежда, и белизна из-под неё, страшно взглянуть, человеческая. Яков Антонович увидел ограду, оторванный пролет запутался в телеграфных проводах, сердце прыгнуло, задохнулось, словно кто-то свинцовым сапогом наступил на грудь. Розовенький носочек, зацепившийся за штaketину, трепыхался на ветру, кричал, плакал: пап-ка-а! Яков Антонович вскидывался, просыпался, опять выходил на улицу...

К рассвету полеты кончились. Опершись о забор, Яков Антонович смотрел в расширившееся пространство неба, и, так же необъяснимо, как ночью, всё навевало тоску, так сейчас – предчувствие какого-то счастливого исхода. Это новое чувство его немного пугало – чего ему ждать? Но потом пришла бабка Кланыя, присматривающая за его нехитрым хозяйством, выставила к завтраку стакан наливки. Он искренне удивился: с чего бы? И тут же вспомнил: праздник, День Победы. Чувство окрепло, и час от часу в нём нарастала уверенность: сегодня произойдет что-то такое, что круто изменит его жизнь.

И хотя он старался не думать об этом, приехав на вокзал, несколько не удивился, что встречающих поезд баб – не в пример вчерашнему – много и почти все они записались у него как желающие взять ребенка на усыновление. Тут же на траве возле станционной водокачки, похожей на силосную башню, побирушки разложили на тряпицах хлеб, лук, сало. «Верно, бутылку „вермута" тоже припасли», – ни к чему подумал Яков Антонович и едва не налетел на Реньку Воронько, брата начальника вокзала, безногого мужика, чёрного и кудлатого, приросшего к деревянной тележке, похожей на самокат, которую он размашисто кидал вперёд так, словно она была частью туловища.

– Что, Яков, назвал народу? – густым сиплым голосом, пугающим детей и собак, радостно спросил Ренька и, ловко вильнув, покатил к водокачке, держа в подоле обрубков блеснувшую на солнце бутылку красной.

В другой раз такая встреча со всей этой Ренькиной компанией вряд ли обрадовала бы Якова Антоновича, а сейчас и она по-своему помогла хорошему чувству. «Все – люди, все – человеки». Глядя, как со стороны крупозавода и элеватора подходят ещё люди, подтянулся, одёрнул китель, стряхнул пыль с галифе: за свежее обмундирование бабуле надо спасибо сказать, надоумила. Услышав разлихватые переливы гармошки, улыбнулся: сообразуется праздник, самый настоящий сообразуется. Пошёл к машине, с достоинством подняв голову, стараясь как можно меньше припадать на левую ногу – всё же он здесь какая ни есть, а власть.

Однако ощущение себя как власти улетучилось тут же, как только начальник вокзала объявил, что скорый со Спасска выехал – детдом в четвёртом вагоне. Раз за разом, доставая блокнот, а сейчас убедиться, что список родителей, пожелавших усыновить ребенка, при нём, и прежде всего натываясь на свою фамилию, Яков Антонович не только не помнил, что ему надлежит сохранять подтянутость, но не помнил себя самого. Так что, когда поезд остановился и все, хлынув к четвертому вагону, вдруг почувствовали необходимость присутствия власти, потребовалось некоторое время, чтобы вызволить Якова Антоновича из задних рядов в круг, в котором два начальствующих проводника, размахивая свёрнутыми сигнальными флажками, отгесняли встречающих от вагона. Собственно, это они потребовали присутствия власти.

– Где власть?! Где? – нетерпеливо справился один из них, и толпа, словно она представляла собою одно единственное лицо, молча оглядела себя и исторгла Якова Антоновича. Теперь он был – как бы все они. И всё же он оставался Яковым Антоновичем Хвощем, жителем Черниговки, одиноким мужиком, потерявшим на войне жену и сына и решившим сегодня, сейчас, усыновить ребёнка. Он увидел спускающуюся по ступенькам молоденькую женщину в коричневом жакете и чёрной шляпке; вуаль, украшенная звёздочками, закрывая лицо, придавала ей нелепую для этого случая маскарадную загадочность. Ступив на перрон, она лёгким кивком откинула вуаль и придержала рукой. В глаза бросились высокие набивные

плечи жакета, приподнятые, словно под ними таились сложенные на спине крылья.

– Товарищи, кто здесь из Дмитриевского детдома? – услышал он звонкий взволнованный голос, но не сразу сообразил, что голос принадлежит молоденькой женщине, потому что люди вокруг тоже заволновались, отхлынули от вагона: он увидел свалившегося с самодката Реньку Воронько, бьющегося падушкой. «Ах ты, горе какое!» Неизвестно, как бы обернулось всё, не будь городская учительница, как мысленно окрестил её Яков Антонович, такой крепенькой, такой славненькой, такой находчивой.

Хотя щёчки порозовели, она не растерялась, обратилась к народу громко, твёрдо. Особенно хорошо, что громко, ведь важно каждому услышать и переварить самому. Она, конечно, торопилась, начала со второстепенного: прижимая к груди ридикюль, достала бумаги, зачем-то стала перечислять одежду и обувь, которые передаются Дмитриевскому детдому наряду с тремя ящиками игрушек, а также постельным бельём и одеялами, в количестве сорока комплектов. И то сказать, страшновато смотреть на Реньку – живой обрубок, а уж в припадке и вовсе страх.

Пока Яков Антонович, слюнявя химический карандаш, расписывался в соответствующих бумагах в получении, Геннадий Пушкарёв, не поддаваясь общей растерянности, вместе с проводниками выносил на перрон ящики, сундуки. Последний, с постельным бельём (сундук из красного дерева, тяжёлый и громоздкий, со старинными вензелями на бронзовых пластинах), пришлось тащить с остановками, мешала девочка лет двенадцати по имени Олька, вцепившаяся в торцовую ручку рядом с Геннадием. Худая, в застиранном платье жёлто-серого цвета, наголо остриженная и босая, она вызывала чувство досады и жалости. На все просьбы отстать, отцепиться насупливалась, глаза выпуклые и светлые обесмысливались, она точно каменела, ещё крепче сжимая ручку. Когда же сундук начали тащить, она словно просыпалась, всеми силами помогала, видно было, как от напряжения выпирают лопатки. «Погодь, погодь, надсадишься», – останавливал Геннадий, но в работе она преобразалась. Становилась ловкой, смекалистой и ещё немножко суетливой, впрочем, как и все женщины, вынужденные отсутствием физической силы возмещать рвением. Опережая всех, она мелькала то здесь, то там и теперь была как бы главной хозяйкой поезда. Перед тем как стаскивать сундук по ступенькам, прикинули: как оно, чтобы лучше?.. Олька засветилась, выскочила на подножку, ждёт, сообразила, что принимать сундук сил понадобится поболее. Её усердие не осталось незамеченным, бабы ласково и сочувственно наблюдали: каку-таку помощь она окажет мужикам?

Не дотягиваясь до сундука, Олька спрыгнула на перрон, схватилась сбоку и всё же пособила. «Смотри ты, помощница», – расчётливо громко заудивлялись бабы, и мужики, ухмыляясь, по-новому взглядывали на Ольку. Чувствуя на себе эти взгляды, она ещё больше старалась. Яков Антонович тоже заметил её легкую порхающую фигурку, но его отвлек Игнат Воронько. Приказав мужикам

перенести в вокзал приведённого в чувство Реньку, он подскочил к Якову Антоновичу с намерением задержать поезд. Городская учительница, пряча в ридикюль подписанные бумаги, опередила:

– Зачем задерживать? Документы подписаны, имущество вот, – она указала на сундуки и ящики, стоящие на перроне. – А детей... Олька! – позвала она, но, так как никто не отозвался, решительно пошла к сундуку, возле которого, точно окаменев,

застыла босая, остриженная наголо девочка в жёлто-сером застиранном ситцевом платье. Минуту назад смекалистая и проворная, она, тупо уставившись, смотрела на бронзовый окраек сундука, казалось, что это не Олька, а совсем другая девочка. Стуча крепкими, массивными каблуками, молодая женщина уверенно подошла к ней.

– Ну что ты как каменная?

Она несколько резковато взяла Ольку за руку, но та, неожиданно отпрянув, вырвалась, схватившись за сундук. Молоденькая женщина растерялась, лицо залилось румянцем, порозовели даже руки. Внезапно испугавшись, что сейчас заплачет, побледнела.

– Товарищи, – голос дрогнул. – С Днём Победы вас!..

Заранее заготовленная фраза, которую городская учительница хотела произнести с пафосом, оборвалась. Она почувствовала в груди горячее покалывание и ещё обиду за молчаливое отчуждение баб, они словно отодвинулись от неё. Пересиливая приступ, городская учительница вдруг стала жаловаться быстро, сбивчиво, что хочешь как лучше, а получается... Она не должна была ехать с детдомом, она ехала во Владивосток сама по себе, а её попросили, а сегодня на вокзалах тьма народа, в Имане и Спасске детей разобрали, а вещи и Олька остались, потому что Олька спряталась... Конечно, она жаловалась, не надеясь на сочувствие, ей было обидно, но, странное дело, бабы теперь как будто придвинулись к ней.

Неожиданный гудок паровоза, резкий и свистящий, заглушил её, поезд тронулся. Молоденькая женщина бросилась к вагону, на ходу прося всех, чтобы Ольку доставили в детдом вместе с документами и имуществом. Напоследок, с площадки тамбура, крикнула: «Оленька!» Помахала крепдешиновым платочком, который прижимала к губам, удерживая кашель, и уехала. Ничего не осталось от неё, разве что только крик, ударивший Якова Антоновича в самое сердце: «Коленька!»

Ответно взмахнув рукой, Олька вытянулась, удерживая взглядом крепдешиновый платочек, а потом опять сникла, вцепилась в сундук, будто в нём было всё её спасение. «А ведь так и есть, – подумал Яков Антонович, невольно представив на Олькином месте себя. – Должно быть, это ужасно, когда разбирают твоих товарищей, а ты почему-то знаешь, что тебя не выберут, не возьмут, и вынужден загодя прятаться от обид в этом огромном спасительном сундуке».

– Отойдите, девчата, расступитесь маленько, – попросил он и, подойдя к Ольке, положил на плечико свою большую ладонь. – Хочу показать ей наши сопки.

Бабы как стояли, не шелохнувшись, так и продолжали стоять. Им говорили об усыновлении, и вдруг девочка, к тому же одна, это

казалось невероятным. «Сейчас они очнутся», – ждал Яков Антонович, мысленно радуясь, что ход события сам собою попал в его руки и надо только не выпустить.

– Что тебе, Яков?

Теснясь, бабы расступились, обнаружив в конце рваного коридора бельмастого Сашку Безверова со своей двухрядкой на коленях. Он сидел на траве, по-татарски поджав босые ноги, лицом прямо на солнце, но это оттого, что люди теперь его не загораживали.

– Наш Сашка-музыкант, – сказал Яков Антонович и, чувствуя, как Олькино тельце напряглось, успокоил: – Да ты не бойся его, он наполовину зрячий, а голову закидывает для остратки, попрошайничает.

Криво усмехаясь, Сашка плюнул, но бабы одёрнули: октись, тебя сиротинке показывают.

– А я что, а я ничего, – суетливо дёрнулся Сашка и тоже повернулся вслед общему взгляду, подставив солнцу запятаистую, точно коровий зализ, плешь.

– Видишь, за крышами, синие?

Осторожно подняв голову, Олька вскрикнула:

– Ой, близко!

Бабы согласно закивали: дескать, так, так... А Яков Антонович возразил: близко, но не совсем, вот ежели бы от его хаты, тогда другое дело. Олька не успела и глазом моргнуть, как он подхватил её и поставил на сундук.

– Маленько вбок смотри, видишь, деревья – колхозный сад. А вправо – аэродром. А с этой стороны сада, что к нам, – мазанка, белый дом под цинковой крышей – он и есть.

Чувствуя, к чему клонит председатель, бабы разделились: одни приняли сторону Якова Антоновича, другие зароптали – разве так привечают? Пирожочек бы ей, конфетку, приголубил бы, а он водрузил на сундук – смотри. Что она там увидит?

Мужик, он и есть мужик, мать ей нужна. Яков Антонович и сам понимал: может, не так оно надо, да уж как умеет. Ежели Олька выберет его – кой в чём, конечно, бабка Клания пособит, а так сам будет и за отца, и за мать.

– Геннадий, там, в машине узелок на сиденье, принеси, – попросил Яков Антонович, отирая рукавом пот. – Ну что, Олька, нашла?

– Яков, ты ровно маленький, – осудили бабы, но он и сам знал, что увидеть дом невозможно, ему этот разговор с Олькой нужен был сам по себе, как разговор. Но она вдруг привстала на цыпочки.

– А труба какая, кирпичная?

– Кирпичная, – подтвердил Яков Антонович.

– А крыша покатаая?

– Покатаая.

– Тогда вижу, во-он, возле сада, – сказала Олька.

Яков Антонович, не скрывая горделивого превосходства, так взглянул в сторону роптавших, что они невольно притихли.

– Правильно, возле, – радостно согласился он и, так же быстро и легко, как поставил её на сундук, сейчас снял.

Яков Антонович был уверен: Олька не видела дом. И в то же время не сомневался – видела.

– А знаешь, Олька, я тоже один, как и ты, совсем один.

Он вдруг заволновался и замолчал, подыскивая и не находя нужных слов.

Воротился Геннадий Пушкарёв с гостинцами бабки Клани. Уловив Олькин осторожный взгляд, с каким она следила за узелком, бабы всполошились, вспомнили о своих припасах. Яков Антонович хотел опередить их, но как на грех не мог сыскать концов марлевой завязки. «Эх, бабуля-бабуля», – горестно подумал он, кладя узелок на сундук и стараясь успокоиться тем, что мужик, он и есть мужик. Бабы выгаскивали пирожки, шанежки, сахаристый хворост, домашнее печенье, мёд и всё это протягивали Ольке: возьми, дитятко, испробуй. Испугавшись обилия еды, она отступила вплотную к Якову Антоновичу, который, уже ни на что не надеясь, рассеянно отирал с лица пот, и вдруг со свойственной ей взрывной энергией

Олька схватила узелок и, помогая зубами, в два счёта ослабила завязку, осталось только потянуть её, чтобы развязать. Польщённый Олькиной помощью Яков Антонович осадил баб:

– Да погодите вы... у нас всё есть.

Он развернул марлю, и глазам предстали действительно те же шанежки, то же домашнее печенье и тот же мёд, цветом похожий на коровье масло.

– Мёд! – изумлённо вскрикнула Олька и тут же посерьёзела.

– Бери-бери, – потребовал Яков Антонович, – это тебе за твою работящность. Я тебя сразу заприметил, думаю: кто эта помощница, что всюду поспекает? Мне бы такую, а то...

Он внезапно осёкся, помолчал. И вдруг ни с того ни с сего рассердился:

– Я ведь что вам, бабы, скажу, вы не смотрите... ежели Олька пристанет до меня – заместо отца и матери буду, в том моё верное слово. А уж там – решайте.

Он махнул рукой не то чтобы пренебрежительно, но довольно-таки грубо. Однако в ответ, будто от нечаянной ласки, сердца баб смягчили: да мы-то что, Яков?... Одно слово, народ, это она сама пускай решает.

Очень по душе пришлось Ольке, что Яков Антонович сразу её заприметил. Так по душе, что она едва не засмеялась вслух. По правде говоря, она рассчитывала, что её заприметят. Потому-то и чуть не засмеялась, что не ошиблась. Поэтому же, когда Яков Антонович потребовал, чтобы она брала, что пожелает, взяла не мёд (она не маленькая), а шанежку. Сердитость, с какою Яков Антонович вдруг ни с того ни с сего набросился на баб, её не удивила. Олька сама не знает отчего, но тоже осерчала на них. Так что пока они рядились, она недолго думая ловко собрала гостинцы в марлевый узелок, потянула Якова Антоновича за рукав – идём. Он растерялся, суетясь, шкандыбнул к ней, хотел в избытке чувств погладить её

мальчишескую головку, а Оляка подумала, что это от неуклюжести, поднырнула и проскочила под рукой. Потом оглянулась, подбежала к сундуку и опустила торцовую ручку, за которую держалась, мягко так придавила вниз и вернулась.

– Ты уж, Геннадий, сам смотри, погрузите имущество, и в детдом. А сундук этот опорожнишь и назад привози, Оляка возьмёт его, ейный он, – твёрдо сказал Яков Антонович и посмотрел на сундук пристально, со значением, словно надеялся, что и сундук как-то оценит сказанное и запомнит. – Коломбину передашь: я им другой закажу, пусть размеры даст.

Неожиданно для Якова Антоновича Оляка прильнула к нему головкой, и они пошли. Людской коридор расступился, Сашка-Музыкант по привычке вскинул к небу бельмастое лицо, рванул меха, сыпанул «Яблочко». Военная фуражка его с красным околышем опрокинуто-просительно лежала здесь же, на траве. Яков Антонович остановился, зашарил по своим карманам, на что Сашка вдруг яростно замотал головой:

– Иди-иди, ничо не надо, – и, так как Яков Антонович продолжал рыться в своих широких галифе, заматерился, прервал музыку. – Я же сказал: ничо не надо, я так играю, для праздника.

Пройдя несколько шагов, Яков Антонович оглянулся, как всегда, повернувшись всем туловищем, вместе с ним оглянулась и Оляка. Якова Антоновича заинтересовало: почему Сашка не играет? Однако, натолкнувшись на живую людскую стену молчаливого взгляда, позабыл о нём, подобрался, постоял, чувствуя неизъяснимо окрепшую веру в себя, глянул сверху вниз на Оляку.

– Ужо я им...

Почему он так сказал, бог весть?.. В ответ она сдвинула брови и тоже пролепетала:

– Ужо...

И, пряча головку за его рукой, тихо, почти беззвучно засмеялась. Он улыбнулся, и они пошли. Странное дело, но этот её почти беззвучный смех услышан был и народом. Сашка рванул меха, бабы зашевелились, вздыхая и поднося к глазам концы крестьянских выгоревших платков, а мужики, словно всё им нипочём, стали выкрикивать всякие веселые ругательства, очень похожие на угрозы, в которых бабы улавливали одну только беззащитность да ранимость. И потому молчаливо заходились, заходились в ответ под юркое Сашкино «Яблочко».

Яков Антонович и Оляка пересекли вокзальную площадь, вошли в улицу. Они шли от одного двора к другому, и всякий раз, когда кто-нибудь вырастал из-за плетня, Яков Антонович останавливался, сообщал:

– Домой идём, с Олякой, помощницей.

1982